

КРАСНАЯ НИВА

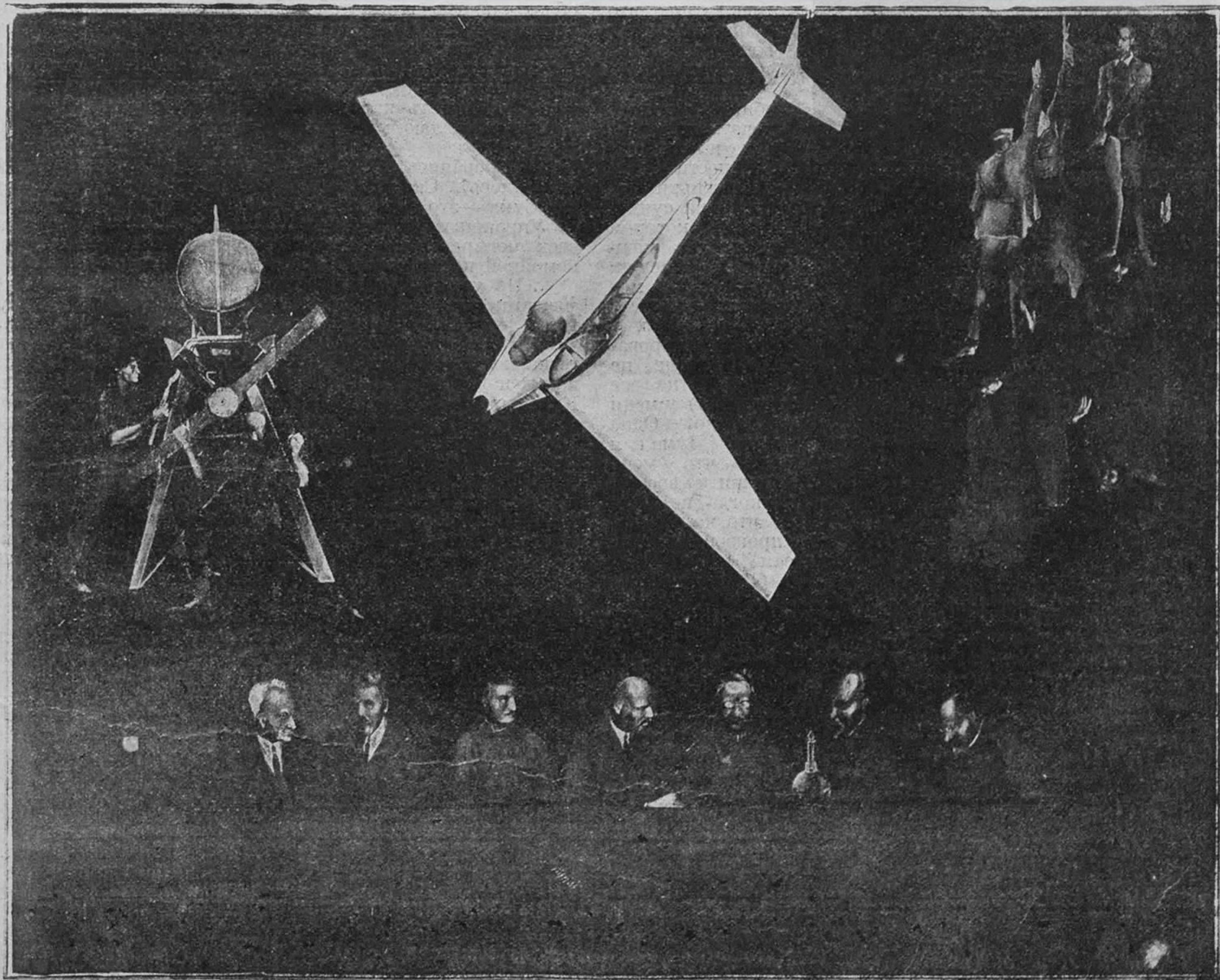
— ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ —
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ПОД РЕДАКЦИЕЙ
А. В. АУНАЧАРСКОГО и Ю. М. СТЕКЛОВА

№ 23

Москва, 8-го июня 1924 г.

№ 23

„ДИСКУССИОННАЯ ВЫСТАВКА“ ОБЪЕДИНЕНИЙ АКТИВНОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО ИСКУССТВА.



через ворота трое уходят те. Нет, и Трифон с ними. Значит, четверо.

И был день, и день прошел. И была ночь. И мы не спали. Выла за стеной Трифонова жена голосом истощенным. Молилась Аглая, к смертному часу готовясь, и рубаху чистую надела. К Пивораки-греку ночевать ушла тетка, меня бросила. Один я сижу в каморке. Гулом гудело за окошком, а я—головой в подушку теткин засаленную, только б не слышать... И эта ночь прошла и еще был день, и еще ночь... Теперь-то знаю, что три ночи мучилась Земля. Рожала, ухала, стонала. Пуговину железную зубами перегрызала.

Тесно на утро в переулке от народу. По середине мостовой—человек ходил, и обе руки заняты: в левой револьвер большой, в правой—сабля наголо. Глаза—жестяники, губы плотно, как плоскозубцы, стиснуты. Трифон-жестяник.

К углу Пиворакову бегом бегу. У бульвара народ. Наш, подвальный. Заскорузлые лица, мятые картузы, всклокоченные пальтишки, пиджаки прямо на рубаху. Ходят. К стенам домов лица жадно. Читают напечатанное на больших листах, прилипших к стенам кой-как. Листы мокрые, клейстерная заварка проступает. У церкви мостовая перекопана. Булыжники рядом навалены тонким, с землей вперемешку, из этого валик сделан. Окоп.

Что ухитрился столб фонарный пополам перегрызть? А кто это другим зубом по кронштейну трамвайному лягнул, зубом надавил, отметку сделал? И проволока наверху оборвана, ужом-вьюном свернута, завилом вниз. А там еще рельсы вдоль проезда выворочены, скручены, перекручены, чуть ли не узлом завязаны...

— Бой был (Ситец мне в восторге)... Из пушки шарахали. По фонарю, видишь, как бритвой, наотрез. А оттенково по окнам, по окнам, да пулеметом, как горохом, эва, вот-те-на, смотри...

Словно оспой мелкой дом рядом с церковью исковырян, и ни одного-то стеклышка цельного. Простенки словно кто нарочно цилом громадным ковырял. А вон и пушка стоит. Бегом туда... Вот отчего взрывы, удары по перине немыслимой. У пушки солдаты... Какие солдаты... да это наши слесари из пушкинской казармы. (Они. Точно.) Стоят, винтовки к рукам принаены. Светло глядят на нас—мелкоту, как мы зеваем на пушку.

Новая улица. Новый бульвар. Новые люди. На небо посмотрел. Прямо впереди, над куполом синематографа, разорвалась прокопченная дерюга облаков, голубое показалося пятнышко, кусочек ласкового неба, как весной, и луч выскользнул от Солнца. Глаза прищуренного, золотая полоска, словно от яркой богатой лампы, чрез дверь приоткрытую в комнату темную. Вот когда мне весны захотелось, деревьев в цвету и зелененькой травки, чтоб можно по ней было бегать босыми ногами, купаться в речушке, лежать на песке, на солнышке греться...

Дальше б-гом. На конец бульвара, к площади. Оста-

новился, смотрю,—кошка дохлая, боком упала. Ворона на ней, ни на кого внимания, прицеливается мертвый глаз выключить...

ЧЕТВЕРТАЯ. 15 апреля.

Зиму ту я помню отлично. Снег, холод. Тетка возится у маленькой коптящей печурки, кашу варит. А сварит, завернет горшок в подгузки ватные, чтоб не остыл, через пустырь вынесет на тычек рядом, там базар наладили. Продадут рухлядь старую, сапоги, калоши старые, под-ново залитые, миски, топоры, бадейки, хлеб, картошку, овес. Сидят на корточках, каждый у своего богатства. Божатся, ругаются, кричат.

Пахнет керосином, потом, навозом. Пар идет из рта от закутанной тетки, от закутанного горшка. Весь базар кажется закутанным в морозный пар, весь город закутан в снег.

Мы, мальчишки, тут. Ведь дома вечерами тетка с Аглаей судачат, как жить. Ведь нечего тетке ходить по панели, когда гости нечезли, когда у них дума совсем о другом. Только б принести домой хлеба. Нечего спать с грузными бабами, валадаться не время, от этого сыт не будешь.

— Кормить тебя, чертенка, не могу (тетка мне)... взять негде, добывай сам...

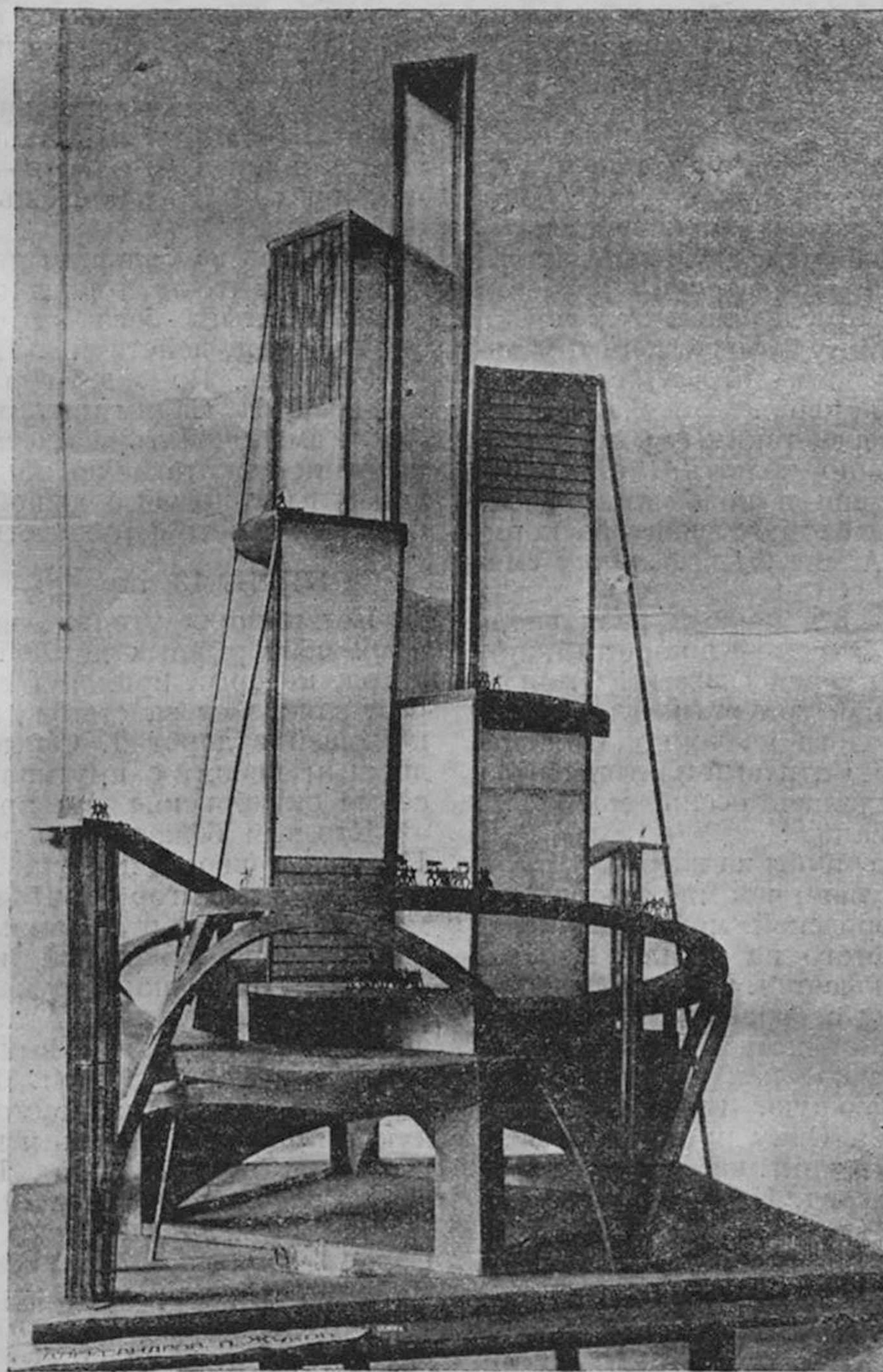
Становлюсь на улице, у знакомой трубы в уголку. Скулю, вою... Куда там... никому нет дела до меня. Ведь никто никогда никому ничем и ни в чем не обязан. А как навалило снегу,—кто пойдет по панели, когда на ней сугробы? На мостовой тоже толстый настил снега и только по середине вытянулась редко-поднавоженая вытопка, по которой шкандыбают люди, тянут санки самодельные, из старых ящиков скульптинные, на санках мешки, за плечами мешки, одежда, как мешки, балахоны какие-то. Отопцали люди, знаю...

Ночью в нашем переулке тихо. Луна—откушенный блин—рожу скорчила на небе—сковородке остылой. Черное пятно у сугроба—дохлая кляча с запрокинутой головой—вздурлся живот—выеден он собаками, как пещера—и ребра торчат, как провалившийся накат—раскорячены нагло. — И поздно, когда блин за купол прятаться станет, Рамсанов с топором, как заговорщик, из калитки прыгнет, с собаками в бой вступит, все из-за той же клячи, чтоб ногу падальную отрубить, лошадиный окорок посолить, чтоб Аглая с голоду не помереть.

А вот днем тетке кашу варить не на чем. Прожорлива печка маленькая. Напихать в ее утробу железную надо поленьев-пирогов деревянных, чтоб не просила. По ночам краду дрова, что у попа запасливого позапрятаны по загоулкам на дворе церковном.

Жрать хочется. Хорошо украсть селедку на базаре, домой принести ее, милую, ржавую, в соленый смачный сок от нее окунать черствую корочку-сухарик (Аглая по кусочки пошла... бывает, с нами делится). Хорошо окунать сухарик и долго сосать его, набирая побольше слюней, раньше чем прожевать и проглотить. А потом

„ДИСКУССИОННАЯ ВЫСТАВКА“ В МОСКВЕ.



Гр. Александров и П. Жуков.—«На смерть вождя». (Макет архитектурного сооружения).

напиться воды до отказа, себя обмануть, будто сыт... Аглая коль не даст, то достать корку,—значит (знак равенства)—долго ходить по базару и кланяться у такого... неизвестного, на дровнях сидящего, бородатого, в шапке деревенской лохматой, сердито нихающего тебя глазами из приподнятого воротника,—пока не кинет мне, как собаке, сухарь. А кинет,—еще трое, таких, как я,—бросятся за сухариком в снежную сукровицу, тысячами ног взерошенную, с навозом, плевками, харкотинной перемешанную. А тот, в шапке лохматой, смеется:—у-у... свол-л-лоч-ч-ч.

Нет, лучше сговориться всем четверым,—да так, чтоб двое приставали, один караулил, а четвертый сзади, из-под лошади, малявкой, как-нибудь из-за угла, из-под низу, рукой в дровнишках пошарил, там, где спрятано, да оттуда—баранку—две, лепешку, краюху, хоть ломоть, а то и узелок...—а там врассыпную—на-передачу, а если ловят, то на-подброс, да в такое место, чтоб не сразу нашли. Свои найдут—поделятся.

ПЯТАЯ. 16 апреля.

...Весенние лужи просохли быстро, как никогда раньше, ни в одну весну, как помню. Из нашего крылечка выйдешь, вознесешься из этой подземной дыры, так перед тобой словно поле с редкими домишками, вытянутыми по чудной кривой. Нет заборов, кой-где уцелели сараюшки, курятники да собачьи будки. Зеленеет молодая крапива у разваленной кузницы, из которой за зиму потаскали все деревянные брусья, а кирпичные стены наклонились внутрь и вот сейчас, гляди, обвалятся.

И тут как-то вечером майским, когда воздух был ласков и тепел, словно котенок, опять начернила копотью брови раскутавшаяся тетка и к бульвару ушла. С солдатом вернулась. Повертелся на дворе я, хочу домой,—тетка не пускает,—вот притча,—с солдатом на ночь... Куда деваться?... и в теплую майскую ночь на бульваре я. У Лидки—подруга, Шурка Лобастая. Котовал с ней Федька, домущник. Засыпался. Теперь Шурка одна. На бульварной скамье с Шуркой сидеть тесно, в прижимочку, рядом, говорить о себе (как жил, как живу), курить поочередно одну и ту же самокрутку, смотреть, как сереет бульвар, деревья и дома напротив. А потом тихо, со смешками, пробираться к кузне, обняв Шурку за качающуюся талию, где проступают тонкие, дрожащие косточки. А впереди так же Ситец с Лидкой идут и вкусно целуются... Там, в темноте развалин, в щели-трусобе, рогежкой на щебне постелиться и прилечь... В щели-кузне Ситец—повелитель-атаман. Сегодня я приближен к нему, и мне позволено... Шурка спит со мною рядом, левую руку мне под шею, близко полуголым телом ко мне. И я знаю, что я не тот, что прежде, и что будет новое, словно часть жизни кончилась, вторая начнется, а вот теперь две минуты перерыва для приготовления следующей, как в синематографе.

А новый день, после почевки, был необыкновенным с самого утра. Было рано, розовые полосы тянулись по свежее заолифенному небу. Шурку проводил до бульвара, вертаюсь к себе... а, д-да... тетку вижу, мягко прощается с солдатом на дворе, у крылечка. За углом притулился я, какмышь, моментально, чтоб поделушнать да подсмотреть... А, д-да, тетка не похожа стала на прежнюю тетку, что знал раньше, у этой в глазах стал ласковый свет, нежный и особенный. Тетку из-за угла вижу, а она меня нет. Тихо говорит солдату, улаживает о чем-то...

Рассматриваю солдата. Прежде всего ноги. В лаптях. Обмотками до самых колен серыми обкручены. Рассмот-

реть солдата ухитрился. Был он ничем не замечателен, белобрыс, лицом коленкоровый, а глаза только словно буравчики сверлящие, без хитрецы и не злые, а беспокойные такие, пронзительные. Попрощался он с теткой за руку, учтиво потряс как-то ногой по военному (хоть и в лаптях), прищелкнул так, что мне смешно стало, сиганул в переулок быстро. Видел я, как тетка вздохнула, потянулась и медленно туда, к нам, как в люк, спускаться начала.

Через минуту за ней я. На растрепанной постели, где еще подушки положены были двуспально, с промятыми ямками от голов, сидела тетка и думала. Что я вошел, ей наплевать, ничего не сказала, не ругнулась, не спросила, где был и откуда.

— Чего делать будем? (Тетке. Я. Что-нибудь сказать...)

И в ответ услышал необыкновенное:

— А вдруг... и вправду?..

К тетке повернулся. Да, в глазах у тетки новое,—словно пережила она огромное счастье и все еще не опомнится. Поближе к ней шагнул:

— Кто он?

...спросил тетку, весь дрожа от любопытства и смутного понимания, потому что три часа назад сам, в первый раз, пережил колко и сладко стыдный момент с Шуркой, а на губах моих еще не были слизаны тонкие поцелуи сухих Шуркиных губ—бледных полосок. Как проволокой раскаленной по лбу... чирк... мысль, воспоминание о три часа назад моменте, и опять тихо:

— Кто он?

Ничего не добился. Спихватилась, очнулась внезапно, с постели вскочила, толкнула меня, крикнула:

— Принесешь что ли воды, чертеныш?

А сама постель прибирать.

Ведерко за дверцей хватаю. С ведром по пустырю маршем, к попову двору за водой, скрипучий колодец качать. А оттуда с отдыхами, на бок перегнувшись, тащить тяжелое. Принес воды—комнаты не узнал. Чистила тетка комнату, прибирала тряпки все, бутылки на подоконнике, табуретки расставляла, из сундука такую скатерть клетчатую вынула, на стол постелила. И кровать как я-то другая, с подушками, так красиво разложенными, и половички мои на сундуке положены ровно... Денег дала мне, в чайную итти, чаю морковного напиться.

А в чайной и Ситец, и Мефодька, и Лидка, и Шурка, словно ждали, руками машут, к себе зовут. Подсел. Самогону в чашке дают, угощают. Мефодька, пьяный, мне на ухо вопрос:

— Ты с Шуркой спал?

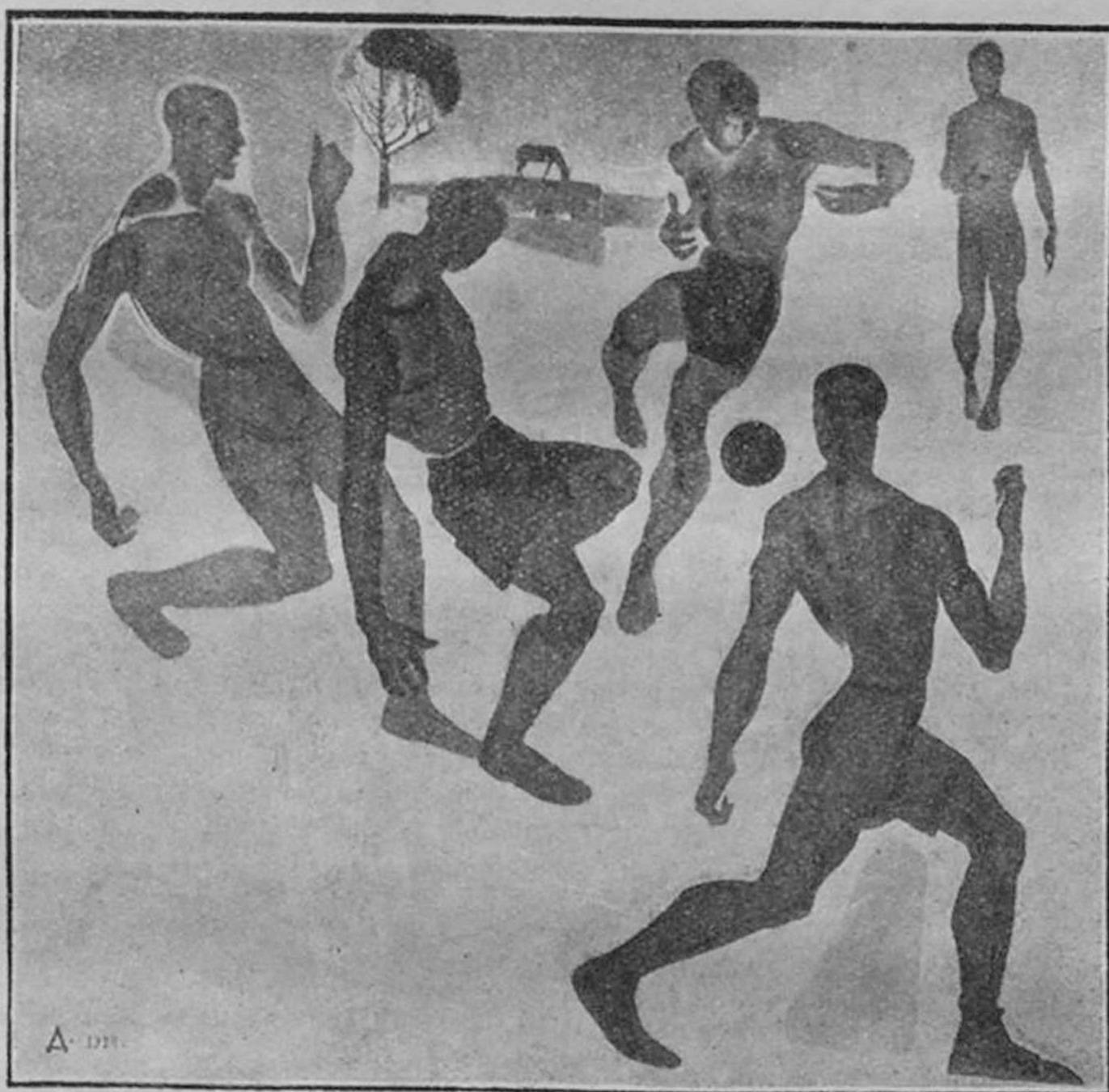
Сосу из чашки, головой Мефодьке кивок утвердительно. Кивка ему мало:

— Ну, и что?

— Ничего.

Из чайной с Шуркой на бульвар. Говорит мне о матери своей, у которой живет, как та продала ее дворнику, как больно было у него в дворничкой на овчинном тулупе и как ему лицо оцарапала. О мне потом. Я—оголец фартовый, руки у меня тонкие, ширмачем хорошим быть смогу, если раньше не засыплюсь зря. Тут помечтали мы. Ой-ли, мечты вы бульварные, посиделки городские скамеечные... Денег бы настрелять, царапнуть бы в лапу дельце хорошенькое. Ближе ко мне Шурка, ластится дивчина, наговаривает слова ласковые. Не должен я Шурку в обиду давать, а как гуляет она, должен я ее сторожить, чтоб после гостя чужаки денег не отняли. Да не смел чтоб я с другими девченками любовь крутить. Они все зараженные, уколы принимают, а знает Шурка, что она чистенькая, а для меня—первенькая, целенький я ей

„ДИСКУССИОННАЯ ВЫСТАВКА“ В МОСКВЕ.



А. Дейнека.

Футбол.

ЦЕНА в Москве, провинции и на станциях жел. дор. — 25 копеек.

КРАСНАЯ МИВА

№ 23

Москва, 8-го июня 1924 г.

№ 23

Демонстрация германских коммунистов.



Первое заседание нового германского рейхстага 27 мая, на котором коммунисты—депутаты рейхстага устроили грандиозную демонстрацию с требованием освобождения арестованных коммунистов в Мюнхене. × отмечен председательствовавший на заседании с.-д. Бок.

Издательство „Известий ЦИК СССР и ВЦИК“.